

Н. А. Богомолов

ЧТО ВИДНО СКВОЗЬ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»

В европейской истории XX века было несколько моментов, когда мир переставал быть даже иллюзорно единым и превращался в ряд безнадежно отделенных друг от друга образований, каждое из которых и внутри себя могло напоминать лабиринт без выхода. Довольно очевидно, что подобные ситуации порождались нарочито закрывающимся от постороннего взгляда (не говоря уж о постороннем вмешательстве) обществом, но ведь далеко не только им. Обращаясь к материалу, хронологически близкому сюжету нашего дальнейшего повествования, напомним, что уже после окончания Второй мировой войны в странах, не подпавших под советское влияние, вполне могли возникать обсуждения коллаборантской деятельности, очень часто основанные лишь на слухах, а с другой стороны — даже очень заметным людям предъявлялись обвинения в большевизанстве. Шмелев, Георгий Иванов и Одоевцева, Берберова, а с другой стороны — Бунин или Адамович вынуждены были то оправдываться, то молча переносить обвинения, порожденные ситуациями, в которых вольно или невольно участвовали очень многие, но которые вызвали неоднозначное отношение окружающих. Даже в мире русского рассеяния, где обмен информацией не был принципиально затруднен, где ни общество, ни государство не ставили препятствий для обсуждения подобных вопросов, каждый казус нуждается в особом рассмотрении, и решение последующих историков далеко не всегда бывает однозначным¹.

История, заинтересовавшая нас, связана сразу с несколькими эпохами и с различными типами и возможностями «закрытости» общества. С одной стороны, это советская действительность наиболее жуткого периода ее существования — ежовщины — и нескольких последующих лет. С другой — годы после окончания Второй мировой войны в кругу русской эмиграции во Франции и США, то есть двух наиболее значительных к тому времени центрах русского рассеяния. Выбранный нами для анализа эпизод, растянувшийся на двадцать с лишним лет, как кажется, весьма выразительно показывает, с одной стороны, советскую реальность в экстремальных случаях, а с другой — трактовку этой экстремальной реальности высокими профессионалами из числа русской научной и литературной эмиграции.

1

4 января 1953 года поэт, критик и мемуарист Юрий Терапиано, живший с давних времен в Париже, напечатал в нью-йоркской газете «Новое русское слово» статью: «О неизданных стихах О. Мандельштама», где писал:

В послевоенные годы появились списки многих неизвестных в эмиграции стихотворений погибшего в Советской России поэта О.Э. Мандельштама. В номере от 3-го сентября 1950 г. в «Дневнике читателя»

¹ Напомним хотя бы публикацию: Будницкий О.В. «Дело» Нины Берберовой // НЛО. 1999. № 39. С. 141–173, и соображения отчасти по тому же поводу: Ронен Омри. Из города Энн. СПб., 2005. С. 42–47, 222–223.

Г.П. Струве рассказал о литературной деятельности О. Мандельштама после выхода в свет второй книги стихов «Tristia», — последней книги, известной в эмиграции. По сведениям, имеющимся у Г.П. Струве, после «Tristia» Мандельштам выпустил еще две книги стихов: в 1925 г. «Шум времени» (в позднейшем расширенном издании «Египетская марка») и в 1928 г. «Стихотворения» — книгу, составленную из трех отделов: «Камень» — перепечатка первой книги, вышедшей в 1916 г., «Tristia» и 20 новых стихотворений, написанных между 1921—1925 гг. <...> Недавно я получил из Западной Германии две серии списков неизвестных стихотворений О. Мандельштама. Среди них есть полные тексты частично цитированных Г. Струве стихотворений, опубликованных недавно в антологии «Приглушенные голоса» («Чеховское Издательство»), и ряд стихотворений, до сих пор нигде не опубликованных, из которых некоторые принадлежат к лучшим стихотворениям Мандельштама.

В конце статьи Терапиано напечатал четыре стихотворения из числа этих неизданных: «Ветер нам утешенье принес...», «Как тельце маленькое крылышком...», «Московский дождик» и «1 января 1924» (первая половина).

Окончание стихотворения «1 января 1924» было опубликовано тем же Терапиано через полтора месяца в заметке «Ответ на письма читателей»². Выяснилось, что читатели очень взволнованы разночтениями в текстах Мандельштама, и в частности тем, как верно читается в стихотворении «Tristia»: «Последний час вигилий городских» или «Последний час веселый городских». Заодно эти просвещенные читатели продиктовали автору письма следующие строки:

Мне указывают также, что четвертая строчка находящегося в «Камне» стихотворения:

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят,
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят

(«Камень», изд. «Гиперборей», Петроград 1916) в советском издании читается:

На лавках у подъездов спят.

Не имея под рукой советского издания, могу лишь высказать личное впечатление, что фонетически первая редакция лучше.

По всей вероятности, Терапиано очень гордился своими открытиями и текстологическими трудами. 25 февраля он писал обитавшему в Калифорнии Глебу Струве:

Вы уже, вероятно, прочли в «Н<овом> Р<усском> Слове» мой ответ на письма читателей, в котором я поместил (в связи с чтением «вигилий»)

2 Новое русское слово. 1953. № 14904. 15 февраля. Об изысканиях Терапиано в области биографии и текстов Мандельштама (хотя и в более позднее время) см. также его переписку с Р.Н. Гринбергом («Мы служим не партиям, не государству, а человеку»: Из истории журнала *Опыты* и альманаха *Воздушные пути* / Публ., вступ. ст. и примеч. В. Хазана // Toronto Slavic Quarterly. № 29 (<http://www.utoronto.ca/tsq/29/hazan29.shtml>)). В качестве запоздалого комментария отметим, что по каналам самиздата, насколько мы знаем, сообщенные Терапиано сведения не распространялись, прежде всего потому, что система самиздата в 1950-е годы еще не сложилась.

стихотворение «Я изучил науку расставанья» в том виде, в каком оно было напечатано в «Гермесе». Статья эта еще до меня не дошла — не знаю, нет ли в ней опечаток, столь частых в газете. Поэтому посылаю Вам вырезанную страницу из «Гермеса» со стихотворением — обратите внимание на пунктуацию самого Манделъштама — он при мне проверил корректуру в редакции «Г<ермеса>». По миновании надобности — верните мне, пожалуйста, эту страницу; я решил не посылать всего экземпляра «Гермеса» потому, что он сохранился у меня в очень потрепанном виде, без обложки — я купил его случайно в Константинополе в 1920 г., там есть и мои ранние стихи³, —

а Струве сослался на его заметку в примечаниях к американскому изданию Манделъштама, причем не только 1955 года, но и во втором издании первого тома четырехтомника «Международного литературного содружества» (1967). Правда, «лавки у подъездов» ни в какие примечания, к счастью, не попали.

При чтении этих статей и писем возникает наиболее существенный вопрос: почему Терапиано, находившийся в самом центре литературной жизни русского Парижа, где вполне были известны и прозаические книги Манделъштама, и «Стихотворения» 1928 года, впал в обыкновенно не свойственную ему амнезию? О том, что тексты этих книг прочно хранились в памяти и много лет спустя, и даже не у самых больших поклонников Манделъштама, напоминает письмо Н.Н. Берберовой к тому же Струве от 12 октября 1950 года: «Стихи же <Манделъштама> были мне известны, потому что я с <19>27 по <19>39 год делала в “Возрожд<ении>” литературную (советскую) хронику, кот<орую> Ходасевич подписывал “Гулливер”. Этот Гулливер теперь находится в Америке, вместе с моим архивом (около 10 толстых тетрадей) и представляет громадный интерес»⁴. Как кажется, ответ на такой вопрос не может быть слишком простым.

Одна из возможных причин была достаточно очевидно связана с опасениями за судьбу поэта. Еще 21 августа 1955 года Терапиано сообщал Струве:

Вчера получил от одного приятеля, *поэта*, живущего в Зап<адной> Германии, письмо, что он недавно познакомился с только что перебежавшим сов<етским> журналистом, который уверяет, что «О.М. жив, но полуглух, полуслеп». Мой приятель надеется выведать у него более подробные сведения, и тогда сообщит мне. — Не очень верится, но в СССР все возможно! Не так давно семьи увезенных в 1946 г. из Сербии некоторых офицеров (их считали погибшими) получили известие, что они живы! Во всяком случае, буду держать Вас в курсе⁵.

Еще более подробно он писал об этом в уже цитированном ранее письме к Струве от 25 февраля 1953 года: «Надеюсь, Вы уже получили посланный мною Вам экземпляр “Встреч”. Там я как раз рассказываю о пребывании Манделъштама в Киеве. Могу прибавить — то, о чем я на всякий

3 Hoover Institution of War, Revolution and Peace. Gleb P. Struve Collection. Box 139. Folder 16. В дальнейшем на материалы этого архива мы ссылаемся сокращенно: Struve, с указанием номеров коробки и единицы хранения. Листы в архивных папках не нумерованы.

4 Struve. Box 77. Folder 6. Тетради с вырезками хроник «Гулливера» (вопрос об авторстве которых остается непроясненным) хранятся в том же Гуверовском институте, в архиве Б.И. Николаевского.

5 Struve. Box 139. Folder 16.

случай⁶, (т.к. до сих пор в Париж время от времени доходят слухи, что М<андельштам> жив)...»⁷ Прервем на этом цитату, чтобы вернуться к ней далее, а пока отметим лишь то, что слухи о том, что Мандельштам жив, были довольно устойчивыми.

Эти сомнения заставляют нас внимательно задуматься о том, что в то время знали о личной судьбе Мандельштама, а не о его текстах. В 1955 году, издавая первое собрание сочинений поэта, Г.П. Струве написал его биографию, в которой о последних годах жизни было сказано невнятно, со ссылкой на некоего неназванного информанта, а в подстрочном примечании сообщено, что изложенная версия во многих обстоятельствах повторяет ту, которая была опубликована в статье Б.И. Николаевского «Из летописи советской литературы»⁸.

Объяснить положение биографа несложно. Естественно, советская печать о судьбе Мандельштама молчала. Но и неофициально о ней внутри СССР знали очень немногие, что выразительно описано в конце «Второй книги» Н.Я. Мандельштам.

Поэтому приходилось основываться на сведениях неизвестного происхождения, донесенных случайными людьми, зачастую склонными к фантазированию. Казалось бы, очевидная недостоверность сведений побуждала к сугубой осторожности в их использовании и к проведению различных процедур верификации, однако, как нам предстоит убедиться, ничего подобного не случилось.

Обратимся к статье Николаевского как к хронологически первой и чрезвычайно заметной в кругу источников, на долгое время (по крайней мере до 1960 года) ставших базой для сведений о судьбе целого ряда советских писателей.

Нам уже приходилось говорить о том, что выдающийся по меркам русской эмиграции историк Б.И. Николаевский был далеко не безупречен в том, что касалось сообщаемых им сведений об истории и современном состоянии советской литературы. Рассказы о судьбе И.Э. Бабеля, издававшего в лагере газету и освобожденного в годы войны, или об Н.Р. Эрдмане, погибшем в сталинских лагерях, являются тут показательными примерами⁹.

6 Рукой Струве вписано в квадратных скобках: «умолчал».

7 Там же.

8 Социалистический вестник. 1946. № 1. С. 22–23. Далее ссылки на эту статью даются без указания источника. Специально этой статье посвящена работа: *Кацис Л.Ф.* Борис Николаевский о судьбе О. Мандельштама: К проблеме аутентичности информации журнала «Социалистический вестник» (1946 г.) // Вестник РГГУ. 2008. № 11. Серия «Журналистика. Литературная критика». С. 143–149, где автор полагает, что неточности информации были сознательными, а «многие сведения "Социалистического вестника" о Мандельштаме превышали по точности все, что стало известно едва ли не через десятилетие» (с. 147). С этим мы никак не можем согласиться.

9 Подробнее см.: *Богомолов Н.А.* Сквозь железный занавес: Как узнавали в эмиграции о судьбах советских писателей. Статья первая // Литература русского зарубежья (1920–1940-е гг.): взгляд из XXI века: Материалы Международной научно-практической конференции 4–6 октября 2007 г. СПб., 2008. С. 14–20; *Он же.* Из заметок по истории русской зарубежной литературы и журналистики // Кафедра критики — своим юбилярам: Сборник в честь В.Г. Воздвиженского, Л.Ш. Вильчек, В.И. Новикова. М., 2008. С. 23–49.

Однако, как кажется, повествование о жизни и смерти Мандельштама даже на этом фоне выделяется своеобразием и одновременно дает некоторые ключи к пониманию природы творческого преобразования фактов в русской зарубежной истории.

Непосредственно предшествуют рассказу о его судьбе некоторые сведения о любительской подпольной поэзии в СССР, типа «У Лукоморья дуб срубили, / Златую цепь в Торгсин снесли». Далее читаем:

...О. Мандельштам погиб жертвой этого похода власти против антисталинской «потаенной литературы». Подлинный поэт «божьей милостью», он никогда не проявлял большого интереса к политике, — но очень дорожил правом на внутреннюю свободу человека и на свободу творчества поэта. Именно на этой почве он с самого начала был не в ладах с советской диктатурой. Эти нелады обострились, когда диктатура, не довольствуясь внешней цензурой, перешла к осуществлению планов организации литературного творчества. В Союз Советских Писателей он не мог не пойти: от этого зависело не только благополучие, но и вообще возможность существования каждого писателя. Но внутри Союза он, вместе с Пастернаком и др. писателями того же склада, вел неизменную борьбу против всех попыток расширения контроля.

На этой почве выросло и его преступление. Принадлежавший к отборной «элите» литературного мира, Мандельштам бывал на вечеринках у Горького, где происходили попытки сближения Сталина с литературой, — и правильно понимал действительную роль Сталина во всех попытках ущемления последней. Не вполне ясно, что сыграло роль последнего толчка. Возможно, что это была та травля независимых поэтов, которая нашла свое выражение на весеннем пленуме комитета Союза Писателей в 1936 году, когда такой жестокой атаке был подвергнут прежде всего Пастернак. Во всяком случае, в непосредственной близости от этого пленума, Мандельштам написал сатиру на Сталина. Распространения она получила очень мало. Следствие, которое позднее велось, смогло найти не больше пяти человек, которые знали эту эпиграмму. Поэтому текст ее остался совершенно неизвестным даже в узких кругах литературной верхушки. Но НКВД она стала известна: тогда передавали, что Мандельштам прочел ее небольшой группе своих друзей, — а в их числе оказался один, который своим еще более близким другом считал тогдашнего руководителя так наз. «Литконтроля» Я. Агранова, и счел нужным рассказать обо всем последнему. Последний сразу же понял всю серьезность дела: сатира была без особенно колючих слов, — но касалась наиболее щекотливого пункта, вскрывая лицемерие и лживость натуры Сталина. Именно эти стороны своего характера Сталин наиболее старательно скрывает и разоблачение их менее всего склонен признать.

Вряд ли стоит указывать вполне очевидные неточности этого сообщения, вроде того, что Мандельштам не был членом Союза писателей, никогда не бывал на писательских собраниях («вечеринках», как сказано в тексте) у Горького и до известного пленума 1936 года на свободе не пробыл. Но, видимо, стоит особенно отметить, что текст Николаевского, если можно так выразиться, «пастернакоцентричен». Мандельштам представлен в нем абсолютным союзником, если не двойником, Пастернака. При этом, однако, за десять протекших лет многое успело забыться, и в изложении событий начала 1936 года Николаевский неточен: он явно путает Минский пленум правления Союза писателей (открывшийся 10 февраля)

с последовавшей серией писательских собраний (так называемой «дискуссией о формализме в литературе»), начавшейся через месяц, в середине марта. Если выступление Пастернака на Минском пленуме было встречено без особой приязни, но не враждебно, то выступление его на московском собрании писателей 13 марта тут же получило должную оценку как в «Комсомольской правде» («Диссонансом прозвучала на этом собрании путаная, во многом ошибочная речь Пастернака, который попытался амнистировать критикуемое в печати формалистическое уродство...») и в «Литературной газете», так и в главной «Правде»: «Претенциозность выпирала из всей речи Пастернака, пренебрежение к читателю, претензия на читательскую непогрешимость <...> конкретный вопрос о формалистическом кривляньи кое-каких нынешних поэтов и прозаиков <...> пытался Б. Пастернак затушевать анекдотами и трюизмами»¹⁰.

Вероятно, Николаевский опирался здесь на те характеристики ситуации в СССР начала 1936 года, которые он получил от Н.И. Бухарина во время его мартовского и апрельского пребывания за границей¹¹. Позиция Бухарина относительно творчества Пастернака хорошо известна; его помощь Мандельштаму, судя по всему, осталась вне поля зрения современников, не замешанных в этой истории непосредственно. Вместе с тем перенесение даты первого ареста Мандельштама на начало 1936 года и настойчивое упоминание Пастернака в связи с этим, как кажется, свидетельствуют именно о распространении отношения власти к Пастернаку и на другие случаи. Единичная судьба понималась Николаевским и теми, кто принимал его концепцию, как типическая, и тем самым прочерчивались возможности иного завершения биографии Мандельштама. Говоря совсем прямо, если бы он не написал губительной сатиры или эпиграммы, да еще подчеркивавшей определенные стороны натуры Сталина, вполне возможно, что остался бы в живых.

Дальше начинает работать второй стереотип, устойчивый во многих суждениях Николаевского о Сталине и литературе — Сталин как Николай I:

Сталина сатира действительно привела в настоящую ярость и, вспомнив о своем «державном предшественнике» Николае Павловиче, который был не только «тюремщиком декабристов», но и первым следователем по их делу, взял лично на себя следствие по делу об эпиграмме Мандельштама: сам отдал распоряжение об аресте последнего, распорядившись, чтобы бумаги поэта были в опечатанном виде доставлены лично ему; сам допрашивал Мандельштама и всех тех, кому М<андельштам> прочел свою эпиграмму (это были все писатели с большими именами)... Из этих последних арестован был только один, — тот, кому молва приписывает донос на Мандельштама. С остальных Сталин взял обязательство никому об этом деле не рассказывать, — причем каждому было ясно, как жестоко ему придется расплачиваться за нарушение обещания.

Лично для Мандельштама дело повернулось очень серьезно, особенно в результате той независимости, которую он проявил во время столь оригинально проводимого следствия. Утверждают, что одно время считались с возможностью его расстрела, чтобы другим неповадно было. После некоторых колебаний Сталин остановился на отправке М. в тюрьму в административном порядке. Утверждают, что текст эпиграммы не был сообщен даже членам коллегии ГПУ. М. был посажен в Курский централ.

10 Цит. по: *Флейшман Лазарь*. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 445, 451.

11 Подробнее см.: Там же. С. 501—505.

Совершенно очевидно, что недостаток сведений даже самого ничтожного порядка привел к созданию чисто беллетристического фрагмента статьи. Но характерно, что здесь Сталин представлен в облике Николая, ведущего следствие по делу декабристов, а не, скажем, Полежаева, и тем самым Мандельштам обретал облик достаточно крупного не только литератора, но и политика, а заодно и нестигаемого противника режима. Добавим, что в последней части этой большой статьи Эрдман как автор «Самоубийцы» уподоблен Гоголю, а Сталин (до известного момента) — Николаю как читателю и критику «Ревизора». Беллетризация, таким образом, основывается на исторических прецедентах, не очень считаясь с реальной возможностью и убедительностью точных аналогий.

Вслед за этим появляются как будто более близкие к реальности описания:

Тюрьму он переносил очень плохо. Почти до болезненности нервно впечатлительный и раньше, в тюрьме он страдал галлюцинациями; помимо всего прочего, его угнетала мысль, что он сойдет с ума. Именно на этой почве после отклонения одной из его очередных просьб о замене тюрьмы ссылкой он совершил покушение на самоубийство, выбросившись с третьего этажа. Попытка была неудачной, и он сломал себе обе ноги, но остался жив. Долго лежал в больнице, перенес несколько операций, — в результате которых к нему вернулась возможность передвигаться, но только на костылях. Только после этого Сталин смилостивился и отдал распоряжение об отправке Мандельштама в ссылку под надзор. Местом ссылки был назначен город Елец (недалеко от Орла). Мандельштаму было разрешено для заработка работать в местной газете, — в «Известиях» местного совета, но только под псевдонимом. Писать в центральных изданиях разрешено не было, — равно как не было разрешено вообще печатать стихи. Не пиши эпиграмм!

Конечно, и в этом фрагменте есть беллетризация, хотя теперь уже в духе Хармса («Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колесах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса. Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он называл «эпигармами»¹²), но все-таки в нем можно расслышать отголоски рассказов про реальную Чердынь, сломанную при попытке самоубийства руку (даже способ точно назван, только этаж перепутан), про перевод в Воронеж и про возможность анонимно печататься. Но дальнейшее снова относится к сфере чистой фантазии, основанной на типовой судьбе военного времени:

В таком положении дело находилось в 1941 году, — перед началом войны. Осенью 1941 года Елец был занят немцами, и в литературных кругах Москвы поползли туманные слухи о гибели Мандельштама. После изгнания немцев из Ельца слухи эти получили полное подтверждение, — но никаких подробностей не оглашено. Вначале слухи говорили, что в спешке эвакуации М. не успели вывезти, сам он уйти на костылях, конечно, не мог, — и потому попал в руки немцев и уничтожен ими как еврей. Но теперь все настойчивее говорят, что обстановка гибели была совсем другой: для эвакуации действительно не было времени, но у НКВД была совершенно «твердая» инструкция никого из политических поднадзорных на месте не оставлять, а в случае невозможности эвакуации — уничтожать. Тот факт, что Мандельштам был секретарем официальной газеты, положения не менял, — и агенты НКВД точно выполнили предписание инструкции...

12 Хармс Д. Полн. собр. соч.: [В 5 т.]. СПб., 1997. Т. 2. С. 357.

Иногда кажется, что Николаевский забывает свои прямые обязанности историка. Мандельштам у него то просто автор местной газеты «Известия», то секретарь газеты. Мало того, размещение Мандельштама в Ельце было не очень продуманным: город был под немецкой оккупацией всего 5 дней в декабре 1941 года, что практически исключает возможность систематического уничтожения евреев, а в небольшом райцентре вряд ли был столь мощный отдел НКВД, чтобы расстрелять всех поднадзорных, тем более (следуя рассказу Николаевского) не осужденных, а лишь подвергнутых административной высылке.

Несколько позже, в шестом номере журнала пришлось даже помещать специальную поправку под названием «Еще о гибели поэта Мандельштама (Из письма)»:

...Ваши сведения о поэте Мандельштаме не вполне точны: он погиб, но в несколько иной обстановке. Из Ельца он был освобожден в 1939 году, когда Берия <так!> освободил из ссылки ряд писателей, артистов и т.д. Зиму 1939—1940 годов он прожил в Москве и, несмотря на физическое нездоровье, был в очень бодром, оживленном настроении. Много писал, — и люди, которые читали его стихи этого периода, в один голос говорят, что это была пора расцвета его творчества. В конце 1940 года Мандельштам попал под новую полосу арестов и после нескольких месяцев тюрьмы был отправлен на Колыму. До Магадана не дошел: в пути схватил тиф и умер где-то на Дальнем Востоке, в тюрьме¹³.

В этой заметке, конечно, также есть значительные неточности, которые не будем обсуждать, но хотя бы общая схема ареста и гибели поэта прочерчена верно.

2

Итак, первая из подробных версий последних лет жизни Мандельштама, достигшая русской эмиграции, исходила из его облика как последовательного и несгибаемого борца с порабощением литературы, что неминуемо означало и политическое противостояние, вылившееся в конце концов в арест, допросы лично Сталиным, тюрьму, высылку и смерть. И не исключено, что именно как противоречащая этой не была принята версия, еще 25 апреля 1942 года сообщенная Ивановым-Разумником Георгию Иванову. Он писал: «...отвечаю на Ваш вопрос об Ахматовой, Лозинском и Мандельштаме. Последний — погиб в ссылке (в Воронеже, в сумасшедшем доме) еще в 1937—<193>8 году»¹⁴. Письмо это Иванов — далеко не последний человек в русском поэтическом Париже, близко знакомый, между прочим, и с Терапиано — получил и почти ровно через месяц, 26 мая, отвечал своему корреспонденту: «Как ужасно, что Вы сообщили о Манд<ельштаме>. Я всегда надеялся еще увидеть его. Это был упоительный, тихий, никем не оцененный <...> И что же какой-нибудь Пастернак или “орденоносец” Лозинский не могли своему другу никак помочь?»¹⁵ Как видим, вовсе не близкий Мандельштаму Иванов-Разумник оказался точнее всех (хотя тоже не во всех деталях безупречным): назвал и место ссылки, и примерную дату. Впрочем,

13 Социалистический вестник. 1946. № 6. С. 157.

14 Встреча с эмиграцией: Из переписки Иванова-Разумника 1942—1946 годов. М.; Париж, 2001. С. 29.

15 Там же. С. 30.

Иванов в своем очерке «Закат над Петербургом» в 1953 году сообщил не совсем те же сведения: «О его трагической смерти известно только, что он выбросился из окна, чтобы избежать “окончательной ликвидации”»¹⁶. Гибель в сумасшедшем доме заменена стоическим самоубийством, что добавляло новый героический оттенок к облику замученного поэта.

Но существовала и другая версия, получившая развитие в цитированном выше письме Терапиано к Струве: Мандельштам, который «мал, как мы, мерзок, как мы» (если использовать пушкинское выражение), но одарен замечательным поэтическим талантом. Этот облик был тем более приспособлен к тиражированию, что вполне соответствовал известным описаниям молодого поэта — у Георгия Иванова, например (напомним, что «Петербургские зимы» были переизданы как раз в 1953 году). Цитируем письмо Терапиано дальше:

...тогдашняя атмосфера, крушение Петербурга, засилие Маяковского, Есенина и Пастернака, и просто аресты, опасность, террор — приводили М<андельштама> в перманентное паническое состояние. Он опасался всего — помню, как он съеживался и сторонился на улице, когда приходилось встречаться с каким-нибудь матросом, «портфельносцем» и т.д. Он очень страдал от засилья Маяковского и т.д. И хотя в смысле правильности своего поэтического ощущения он твердо стоял на своем, но иногда, вероятно, думал, — может ли он идти вровень с «современной поэзией»? — его позднейшее сближение с Пастернаком, думаю, не случайно¹⁷.

Важно здесь и вновь появляющееся имя Пастернака. Нам кажется, что его упоминание поясняет еще одну из причин странной забывчивости Терапиано. Ведь и в той его статье, с которой мы начали эту работу, Пастернак присутствует, причем не единожды: «...чистота линий — основа той высшей простоты, доступной только большим поэтам, о которой писал Б. Пастернак»; «...не хочется рассуждать о том, был ли он символистом или сюрреалистом, подчинился ли он влиянию Б. Пастернака, становится ясно без лишних слов, какой поэт Мандельштам»¹⁸.

Ситуация 1930-х годов в эмигрантской критике никоим образом не способствовала актуализации имени Мандельштама, зато Пастернак, наоборот, был в центре внимания не только критиков, но и поэтов. Ретроспективно, конечно, они вспоминались — тем же Терапиано, к примеру — где-то рядом друг с другом, но синхронно были вовсе не равны. Типичный пример этого — «Письма о литературе» А.Л. Бема, где собраны статьи 1931–1939 годов и имя Мандельштама не встречается ни разу, тогда как о Пастернаке в разных контекстах говорится постоянно¹⁹. В двух томах «Литературных заметок» Г. Адамовича, охватывающих 1928–1933 годы, Мандельштам, которого автор прекрасно знал, упоминается лишь три раза, а Пастернак — многократно. Да и самое развернутое упоминание примечательно: «...встретил с месяц тому назад Мандельштама на улице, оборванного, в калошах на босу ногу, грязного, опустившегося, но, как всегда, с какими-то необычайными идеями и планами в голове...»²⁰ Этот карика-

16 Возрождение. 1953. № 27. С. 174.

17 Struve. Vox 139. Folder 16.

18 Новое русское слово. 1953. № 14904. 15 февраля.

19 См. по указ. к изд.: *Бем А.Л. Письма о литературе*. Прага, 1996.

20 *Адамович Георгий*. Собр. соч. Кн. 2: Литературные заметки. СПб., 2007. С. 62–63; отметим, что эта статья появилась

турный Мандельштам восходит к тому же прототипу, что и беспомощный, запуганный паникер, описанный Терапиано.

Но еще более характерно, что основанием для рисуемого облика покойного поэта Терапиано делает собственные воспоминания, как будто бы не могущие вызвать ни малейшего недоверия. Цитируем то же письмо:

Не могу забыть, как на большом дневном собрании поэтов в Соловцовском театре, перед большой публикой, составленной, главным образом, из квалифицированной советской (поэты должны были выступать по поводу какого-то дня красной культуры), Мандельштам, не выносивший публичных выступлений и не обладавший для этого данными — голос его был слабым, он торопился, то слишком повышая, почти до крика, тон, то срываясь, переходя почти в шепот, с отчаянием, почти насильно вытолкнутый на эстраду, читал свои «Тристиа» и «На каменных отрогах Пиэрии». Ему кричали: «Громче, ничего не слышно!» Он еще больше смущался, сбивался, начинал строфу снова — словом, «провалился» окончательно и, чтобы спасти положение, распорядитель — советский — громко объявил: «Товарищи, простите, знаменитый поэт товарищ Мандельштам не привык (!) к эстраде»²¹.

Практически тот же облик воссоздается в заметке Юрия Трубецкого, появившейся в 1959 году в альманахе «Мосты». Приведем ее полный текст:

В энном году, в таком-то месяце, такого-то числа, я был приглашен на «вторник» к профессору Г. «Вторник» был несколько скучноват. Читали, обсуждали. Какие-то окололитературные дамы и девицы. Молодые люди, пишущие стихи под Есенина. Приехал Осип Мандельштам, читавший в Доме ученых свою «Египетскую марку» и стихи. Жена профессора Г., писавшая неплохие стихи, пригласила Мандельштама на очередной «вторник». Мандельштам с аппетитом уничтожал пирожки с мясом и торт, довольно рассеянно слушал и говорил. Впрочем, в конце вечера прочитал одно стихотворение.

Я и мой приятель З., проводив его до квартиры его двоюродного брата (врача-окулиста), шли домой. З. читал: «Жуют волы, и длится ожиданье, последний час вигилий городских». Тогда я видел Мандельштама последний раз. Он уехал в «погоне за смертью». Перед этим я спасал Мандельштама от уличных патрулей, — он был в великолепной шубе, — а при шубе какая-то рыжая кепка, что, конечно, еще подозрительнее. На шубу Мандельштама оборачивались прохожие.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит.
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь...

На самом же деле Мандельштам панически боялся вооруженных людей²².

за неделю до постановления «О перестройке литературно-художественных организаций», после которого Мандельштам стали, хоть и немного, печатать.

21 Struve. Box 139. Folder 16.

22 *Трубецкий Юрий*. Из записных книжек // Мосты. 1959. № 2. С. 415–416.

Эта заметка кажется совсем бессмысленной, поскольку единственная цепочка воспоминаний, извлекаемая из нее, такова: пирожки с мясом и торт — двоюродный брат окулист — великолепная шуба в сочетании с рыжей кепкой. Ни год, ни город, ни хозяева, ни единственное прочитанное стихотворение не расшифрованы. Но существует документ, который дает возможность прояснить эту заметку, подставив под нее реальные факты. Недавно В.И. Хазан опубликовал письмо Ю. Трубецкого к Глебу Струве от 9 июня 1953 года с рассказом о встрече с Мандельштамом. Однако по какой-то причине в публикации оказались не воспроизведены два листа рукописного текста, которые мы приводим. Последняя опубликованная В. Хазаном фраза: «В Киеве, между прочим, жил его брат, врач-окулист», а далее письмо продолжается:

Видимо, брат О.Э. (родной или двоюродный — точно не знаю) не очень хорошо к нему относился. Был такой эпизод: я зашел к О.Э. (он жил на углу Николаевской и Меринговской ул. — Киев) и пригласил его на маленький фестиваль у профессора-искусствоведа С.А. Гилярова — сына философа А.Н. Гилярова. О.Э. с радостью согласился. Видимо, он был просто голоден. Это и выяснилось. У проф. Гилярова был солидный ужин, и О.Э. с радостью накинулся на еду. Особенную честь он отдал сладкому. Потом охотно читал стихи. Я его пошел провожать. И если бы не я, вряд ли О.Э. дошел до дому. В ту пору по городу патрулировало <так!> ЧК. Я, во-1) имел некоторые документы и, во-2) знал все проходные дворы и мог своевременно увести О.Э. от нежелательного столкновения с чекистами. Это было после свержения гетмана и последующего отступления правительства Петлюры. Каким образом О.Э. добирался потом в Петроград и Крым — не знаю. Следующая (и последняя) встреча моя с О.Э. была уже во время т. наз. НЭП'а (год точно не помню), когда О.Э. приехал официально и читал лекцию в Доме Ученых. Лекция его была просто читкой рукописи впоследствии изданной книги «Шум времени». После лекции его снова пригласили к проф. Гилярову (жена Гилярова была поэтессой и устраивала «литературные среды» — по вторникам). На этой вечеринке, данной в честь О.Э., последний и слушал и читал стихи, впоследствии вошедшие в изданный сборник «Стихотворения». В свое время я получил эту книгу с надписью, но во время моего побега в Берлин я эту книгу потерял, как потерял и много других ценных книг. Вероятно, Вы эту книгу знаете. Туда вошел «Камень», «Tristia» и еще цикл. Кстати, там было много разночтений с первыми изданиями. При советах вышел его «Камень», кроме этой книги и т. наз. «Вторая книга стихов» (почему-то не носившая названия «Tristia»).

Далее следует опубликованный В. Хазаном текст, повествующий о манере чтения Мандельштама²³.

Эти два рукописных листка дают возможность установить несколько дополнительных сведений о мало документированном пребывании Мандельштама в Киеве зимой 1928/29 года. Мы знаем, что он выступал там 26 января 1929 года в Доме врача, читал «Век», «1 января 1924» и отрывки из «Египет-

23 Struve. Box 140. Folder 10. Ср.: Хазан Владимир. «Но разве это было на самом деле?» (Комментарий к одной историко-биографической мистификации) // A Century's Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert Hughes / Ed. by Lazar Fleishman, Hugh McLean. Stanford, 2006 (Stanford Slavic Studies. Vol. 32. P. 484).

ской марки»²⁴. Однако появление его в доме профессора-искусствоведа Сергея Алексеевича Гилярова (1877–1946), действительно сына академика Алексея Никитича Гилярова и внука известного Никиты Петровича Гилярова-Платонова²⁵, насколько мы знаем, никем зафиксировано не было. Но для темы нашего сообщения существеннее эволюция, претерпеваемая рассказом Трубецкого от письма к печатному источнику: два визита сливаются в один, охотное участие в вечере заменяется рассеянным вниманием, отвлеченным едой, и с трудом выторгованным чтением одного стишка, патрули 1919 года вторгаются в 1929-й и т.д. Смысл этих трансформаций, как кажется, один: создать у читателя впечатление, что Мандельштам — этаким человеком не от мира сего, преследуемый роком и гонящийся за смертью уже в январе 1929 года.

С первым образом Мандельштама, созданным Николаевским и тиражированным собранием сочинений 1955 года, невозможно было мириться из-за очевидных ошибок, несообразностей и неточностей. Второй уничтожил очевидное противостояние поэта и советской реальности. Противодействовать этому прежде всего должна была правда, до тех пор скрытая «железным занавесом». Как только в нем появились первые пробоины, как только удалось наладить связь между надежными источниками информации и «свободным миром», пробелы в мандельштамовской биографии стали решительно заполняться. Сначала контакт с Г.П. Струве установил Ю.Г. Оксман²⁶, потом были напечатаны «Листки из дневника» А.А. Ахматовой²⁷, а вслед за этим, в 1970 году, — и первая книга воспоминаний Н.Я. Мандельштам. В немалой степени все эти источники боролись с двумя созданными в зарубежных изданиях и проанализированными в этой статье образами Мандельштама. Оксман сделал это вполне академически, высоко оценив издание 1955 года; Ахматова сочла необходимым включить в «Листки из дневника» резкий выпад против Г. Иванова и Л. Страховского; в «Воспоминаниях» Н.Я. Мандельштам прямо говорится о случае «дешевой политической спекуляции» Б.А. Филиппова²⁸, не говоря уж о дискредитации мемуаров Г. Иванова. Напомним, однако, что ей самой приходилось годами собирать самые ничтожные сведения о последнем пути поэта, что выразительно описано в главе «Дата смерти». Внутренняя закрытость, продолжавшая оставаться одним из основополагающих принципов советского общества, по-прежнему делала невозможным создание полноценной биографии Мандельштама. Отсюда и фрагментарность воспоминаний Ахматовой, и прихотливое построение книги Надежды Яковлевны. Не случайно ведь обе они начинают свой текст с отточий, а Ахматова еще и добавляет: «Я больше не смею вспоминать что-то, что он <М.Л. Лозинский> не может подтвердить»²⁹. Впрочем, эта тема, на которую мы здесь можем только намекнуть.

24 *Мандельштам Осип*. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 394.

25 О нем см.: *Крутенко Наталья*. Сергей Гиляров: Штрихи к портрету // Ханенківські читання. Матеріали науково-практичної конференції. Вип. 4. Київ, 2002. С. 24–32; *Иванов Юрий*. Гиляровы — на все времена: История одной родословной // Зеркало недели (Киев). 2005. 9–15 июля. № 26 (554).

26 См.: *Флейшман Лазарь*. Из архива Гуверовского института: Письма Ю.Г. Оксмана к Г.П. Струве // *Stanford Slavic Studies*. Stanford, 1987. Vol. 1. P. 15–70. Первое письмо относится к ноябрю 1962 года.

27 Воздушные пути. Нью-Йорк, 1965. [Вып.] IV. С. 23–43.

28 *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. М., 1989. С. 241.

29 *Ахматова Анна*. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 198.